

# Андрей

Налегаю на лопату и выворачиваю...

Ни хера себе! Череп.

Человеческий.

Присаживаюсь на корточки, разглядываю. Ни разу не видел мертвецов. Но это и не мертвец. Кость. Тыква с кривыми зубами и дырами для глаз. И все же жалость наглухо накатила. «Да, — думаю, — залетел кто-то по черному. Убили, голову отрезали и во дворе закопали...»

Слышу:

— Чего сидишь?

Поднимаю голову. На краю котлована — пластиковые шлепанцы «найк». Из них босые пальцы торчат. Над ними пижамные штаны в полоску. Еще выше круглое брюхо. А совсем уж в вышине, в утреннем небе, — широченная байская ряха. Хакбердыев, хозяин. Вот этот, точняк, и убил. Двор-то его собственный.

Ненавижу таких гадов. Не хозяин он мне, я только пашу на него. Дом строю. А он тарашится, будто я его собственность.

— Почему не работаешь?

— Череп нашел, — огрызаюсь. — Тут у вас что, кладбище?

Пялятся, будто оценивает. И толкует этак важно:

— Знаешь, как говорят: под каждым следом коня зарыты две сотни глаз.

Мудрец, блин! Да эта пословица каждому в Таджикистане известна. До нас, типа, столько прошло поколений, что, где ни копни — везде лежит сто человек. Нашел себе алиби!

А он переспрашивает, вроде как с угрозой:

— Ты понял? — И пальцем указывает: — Это... сюда неси.

Терпеть не могу, когда приказывают. Я не бобик — прыгать из ямы с костью в зубах. Встал и швырнул череп баскетбольным броском. Он принял пас на удивление четко. Лишь глазом черным зыркнул:

— Работай давай... Копай.

Уходя, обернулся:

— Хорошо работай. Ты ведь Муродова сын? Смотри, хорошо землю копай. А то отца опозоришь.

И отвалил, шлепая «найками».

Я посмотрел-посмотрел, как он шествует по своей усадьбе, держа череп у бедра, будто мяч. «Ах ты, басмач, — думаю. — Да гори оно огнем!» Плюнул, вылез из ямы и пошел в дальний конец двора, где Равиль и Карл сколачивали опалубку под фундамент. Иду и прикалываюсь: пузо выпятил, шаркаю кедами, как хозяин шлепанцами. Подошел и кричу ребятам:

— Эй, почему медленно работаете? Плохо молотком стучать будете, секир-башка вам исделаим.

Равиль гвоздь в доску загнал, голову рыжую поднял и спрашивает:

— Что ты ему пульнул?

— Башку твоего предшественника — бугра, что старый дом строил.

В общем, рассказал про череп. Карл интересуется:

— Какой он? С мясом, с волосами?

— Гладкий.

Карл у нас в любой теме спец:

— Лет двадцать в земле лежит. Не меньше.

Равиль с ходу ввязался:

— Бери уж тысячу.

— Может, и столько. Почва сухая.

Равиль мне подмигивает:

— А миллион не хочешь? Андрюха, да ты первого человека откопал. Могилу святого Деда Адама нашел.

Карл пальцем у виска крутит:

— Думаешь, если Ватан — райцентр, значит, и рай здесь был?

Равиль языком цокает:

— Э-э, брат-джон, у тебя в голове, оказывается, совсем масла нет. Совсем не знаешь, где живешь. У нас все было. Райский сад был. Александр Македонский был. Товарищ Саидакрам Мирзорезоев из Совета министров тоже был. В центре мира живешь.

Это про наш-то зачуханный Ватан? Я его и райцентром не назвал бы. Даже в шутку. Свалил бы из него куда глаза глядят. Вот только податься некуда. В Россию вырваться — денег нет. А в Таджикистане второй год войнушка идет. И вокруг одни торгаши и бандиты.

— Слушай, — спрашиваю Равиля, — как думаешь, за чем он черепушку уволок?

— Кто?

— Ну этот... басмач... Хакбердыев.

— Спроси чего полегче. Может, похоронит. Националы любят хоронить, им Аллах за это грехи прощает.

— Нет, тут другое что-то. Зуб даю, хочет улику подальше спрятать. Он же бандит.

— Да ну! Просто торгаш.

— По мне, все торгаши — бандиты.

Равиль усмехается:

— Хорош мудрить, Андрюха. Иди трудись, ищи остальные кости.

— Хорош приказывать, — огрызаюсь.

Ну, блин, тоже мне большой начальник.

Рою и думаю: может, череп и впрямь древний, но этот-то, басмач, все равно — бандюга. С чего он гнусно лыбился? «Отца не опозорь». О чем это? Отец ведь тоже собирался что-то сказать. Вчера по Интернациональной иду, а он навстречу. Как всегда, в белой рубашке, отглаженных черных брюках. Гладко выбрит. Туфли блестят — будто только что из операционной. И с ходу:

«Андрей, сынок, надо эту работу бросать».

«А чего? Хорошая работа. На свежем воздухе. Физкультура. И деньги платят».

«Пред людьми неудобно. Говорить станут: доктор о своих детях совсем не заботится. Нехорошо. В моем положении...»

Так, да?! Я не стерпел:

«Мое личное дело, на кого работаю. А вы... вы не о нас... только о своем положении и думаете!»

Никогда прежде ему не грубил. Просто — я сам того не ожидал — обида наружу вылезла. Он ведь внимания не обращает на то, как я к нему тянусь. Будто нет меня. Кинет иногда пару слов мимоходом, как кость, и хорош. Я из-за этого раньше даже плакал по ночам. А теперь, когда его самого коснулось, то немедленно: «Андрюша, сынок...»

Да знаю я, знаю, что несправедливо на него окрысился. Не по делу. Он как-никак думает, заботится. И о матушке, и обо мне с Заринкой. Когда год назад началась войнушка, мы без него не выжили бы. Конечно, в поселке не стреляли, не убивали, но жрать-то было нечего. Матушке перестали платить зарплату в библиотеке. Националам легче — у каждого огород, родня в кишлаке. А у нас? Подошли бы с голоду, да отец поддержал. Это позже Равиль взял меня в бригаду...

Думал, отец рассердится. А он:

«Андрей, сейчас трудное время. На забывай, война идет. Надо быть очень осторожным. Ты еще многого не понимаешь. Знаешь, на каких людей работаешь? Они любой зацепке рады, лишь бы мне навредить».

«У меня даже имени не спросили...»

Но отец не слушал.

«Сейчас нет времени объяснять. Вечером...» — И отвалил.

Поговорили, называется, отец с сыном. Я ждал допоздна и еще больше обиделся. Выходит, и на этот раз — как всегда. Матушка тоже сердилась и переспрашивала:

«Так он сказал тебе, что придет?»

Она напекла пирожков с картошкой. Убеждена, он их любит. Я-то знаю: он картошку терпеть не может. Матушка укутала блюдо чистым полотенцем, чтобы пирожки оставались горячими. Но они все-таки остыли...

Рою и размышляю: что отец собирался рассказать? Сто пудов, про торгаша. Не зря спрашивал: «Знаешь, у кого работаешь?» А я сегодня череп нарыл. Одно к одному. Это же, блин, детектив! Если отец вечером опять не придет, то пойду к нему спросить, что он имел в виду. Хотя он не любит, когда без предупреждения. Вспомнил, и опять обида взяла.

Слышу, на улице за забором кто-то сигналил, будто ненормальный. И орет:

— Андрей! Эй, Андрей!

Вылезаю из ямы, подхожу к забору. Ну кто там еще? Белый фургон — скорая помощь. За рулем — черт худой, усатый, черномазый. Али, водитель больничный. Мы с ним вроде как кореша. Кричит из окна кабины:

— Андрей, садись быстро. Поехали!

Он всегда как на пожар. Всю дорогу одно: «быстро-быстро», «давай по-быстрому». А меня злость разбирает. Вчера отец времени для меня не нашел, а сегодня даже машину прислал. Бросай, сынок, дела и — к нему. Быстро-быстро!

— У тебя, — спрашиваю, — лед, что ль, в жопе загорелся?

— Братан, кончай базарить, — Али кричит. — Времени нет!

Ништяк себе заход.

— Ну ты, Эйнштейн, пространство-то хоть осталось? — спрашиваю.

С юмором у Али — всю дорогу проблемы. Не врубается.

— Эй, садись, говорю!

— А дальше что? Лекцию о времени прочитаешь?

— Отца твоего убили.

Я сначала не понял. Он по новой:

— Твоего отца! Убили!

Я понял, но не поверил, а когда поверил, время исчезло.

И пространство, наверное, тоже. Пока я ехал, за ветровым стеклом висела мутная пелена, в которой растворились и глухие глинобитные заборы на окраине поселка, и высокие тополя вдоль дороги, и пустые хлопковые поля, расстилавшиеся до дальних гор. Я будто оглох и онемел. Голос Али доносился до меня откуда-то со стороны, из другого измерения: главврач приказ дал... туда ехать... тело забрать... крюк сделал... за тобой заехал...

Остановились на краю какого-то солончака. Кучка людей. Рядом — черная волжанка. Я выпрыгнул из кабины. Люди оглянулись, расступились. Отец лежал на спине. На одежду, перепачканную грязью, налили репы, будто его волокли по земле. Кровоподтек на пол-лица.

Я будто ослеп. Не видел ближних холмов и дальних гор. Не видел стоящих вокруг. Видел только глубокую борозду поперек его шеи. Тонкую линию, прорезающую вспухшую плоть. Я будто оглох. Не слышал, как шуршит ветер. Не слышал, как шепчутся окружающие. Немного погодя разобрал, что рядом, но будто за какой-то стеной, говорит:

— Ну что ж, надо тело забрать.

Сначала я даже не понял. Захлестывало чувство страшной непоправимости. Меня будто на куски разрывало. И зовет кто-то. Меня. По имени. Озираюсь. Районный прокурор. Стараюсь понять, что он говорит.

— Большое горе, Андрей... Очень тебе сочувствую. Крепись...

Кивает Али:

— Давай, грузи.

Али распахнул задние дверцы фургона, выволок раскладные брезентовые носилки и разложил их рядом с отцом. Я очнулся:

— А следствие?!

— Дело трудное, — говорит прокурор. — Свидетелей нет. Очень трудное дело. Но разберемся. Следствие проведем обязательно.

Врет он! Никакого следствия не будет. У него это на морде лица написано большими буквами.

Я закричал:

— Почему следы затоптали?! Даже собака не найдет.

— Андрей, — мягко сказал прокурор, — собака в таких случаях не нужна.

Его глаза будто закрыты какой-то заслонкой. Как таджики говорят, на лицо ослиную шкуру натянул. Я огляделся. Следователя — его все в поселке знают — среди стоящих вокруг людей не было.

— Где следователь?! Где фотограф?

— Андрей, — сказал прокурор, — не учи меня, как надо работать.

— Почему не начинаете следствие?!

— Обязательно начнем. Проведем расследование, выясним... Обязательно, непременно.

— Ничего не выясните! Вы... все на тормозах спустите.

— Андрей, я тебя прощаю. Ты нехорошие слова сказал, но понимаю, что чувствуешь. Мне тоже горько. Твой отец моим другом был. Очень хорошим другом...

Но у меня от бешенства сорвало крышу, и я плохо сообщал, что говорю.

— Не хотите следствие проводить, да? Мне самому, что ль, расследовать?

Прокурор перебил меня по-русски:

— Ты умный парень, не делай глупостей. Сам знаешь, время сейчас опасное. Не надо такие слова говорить. Пожалеешь.

— Угрожаете?

— Ты кто такой, чтоб я тебе угрожал?!

Прокурор жабры раздул, дерьмо из него так и поперло:

— Учишь, как следствие вести? Научись сначала со старшими разговаривать! Что ты вообще знаешь? Тебе брюхо распори, в нем и буквы «алеф» не найдешь... Ты как твой отец! Тот хоть людей лечил, оттого его и терпели. А тебя за что терпеть?!

Я окончательно взорвался:

— Отца терпели?! Если бы он вас не лечил, вы все бы передохли! От обжорства. Я сам найду, кто его убил! В поселке ничего не добьюсь, в Душанбе поеду. Пусть пришлют бригаду. Я ваш гадюшник разворочу. Я найду, кто...

Он глаза выкатил, смотрит на меня, будто сожрать хочет, но обуздал себя. Отвернулся. Скомандовал, ни на кого не глядя:

— Забирайте.

Никто даже не шевельнулся.

Меня трясло, но я не хотел, чтобы к отцу прикасались чужие. Нагнулся и подсунул руки под плечи отца. Посмотрел на Али... Он поколебался, подошел и неохотно взялся за ноги. Мы приподняли тело. Оно было очень тяжелым и прогибалось пониже пояса.

— Сафаров, помоги, — приказал прокурор.

Водитель прокурорский подошел, ухватился за ремень отцовых брюк и потянул. Мы подняли тело повыше. Голова отца откинулась назад. Мы подтащили тело к носилкам. Я постарался опустить его, чтобы голова не стукнулась о брезент. Вдвоем с Али мы взялись за ручки носилок, отнесли их к скорой помощи и задвинули в фургон. Я сел рядом с носилками. Скорая тронулась. Я придерживал отца, чтобы его не мотало на ухабах. Только тут я заметил на смуглых и крепких отцовых руках ссадины и синяки. Его держали. Он был сильным. Один человек с ним бы не справился. Их было несколько. Я гнал от себя страшные картины того. Не мог их вытерпеть. Гасил их, но они вспыхивали вновь и вновь.

Очнулся я, когда щелкнул замок. Али раскрыл дверцы.

— Брат, давай вынесем...

Я вытер сухие, без слез глаза и взялся за ручки носилок. Брезентовое ложе, лязгая нижними скобами, поехало по металлическим полозьям. К распахнутой скорой подскочили парни в белых халатах. Перехватили носилки, понесли.

Спрыгиваю на землю. Домик, беленный известкой, в глубине больничного двора. Морг. Люди у входа. Застыли неподвижно. Молча. Как тени. Отец на носилках уплывает в раскрытую дверь морга.

Вхожу. Комната какая-то. Отец лежит на высоком узком столе, покрытом клеенкой. По ту сторону стола — врачи. Перешептываются тихо. Один — впереди. Главврач. Остальные за ним, чуть позади. Как на утреннем обходе.

Отцу в лицо не смотрю. Не могу. Черные туфли покрыты грязью. Лезу в карман, достаю платок. Хочу, чтоб опять блестели...

Кто-то что-то говорит... Это главврач.

— Большое горе... но наш коллектив... надо проводить достойно... товарищ Шарипов займется...

Врач в белом ему на ухо шепчет. Главврач кивает:

— Да, товарищи, мы родственникам в кишлак сообщили. Они очень просили вскрытие не делать. Прокуратура тоже не возражает...

Чувствую чью-то руку на плече. Мама. Не услышал, как вошла. Она тяжело оперлась на меня. Замерла, глядя на отца. Я маму крепко обнимаю. Чтобы почувствовала, что я рядом. Что я с ней. Живой.

Мама глубоко вздохнула. Слегка повела плечами, высвобождаясь. Коснулась моей руки ласково: «Спасибо, я держусь». Еще раз вздохнула. Шагнула вперед, к столу. Постояла, глядя отцу в лицо. Поправила воротник рубашки, завернувшийся, измазанный грязью. Нежно провела пальцами по щеке отца. Подняла глаза на главврача.

— Я заберу его. Дайте мне, пожалуйста, машину.

Главврач изумился:

— Куда заберете?

— Домой.

Главврач на маму смотрит подозрительно.

— Зачем домой? Похоронить надо.

Мама будто не слышит.

— И если можно, скажите плотнику дяде Васе, чтобы сколотил гроб. Я заплачу.

Главврач допер наконец.

— Вера, вы нас обижаете... Мы сами похороним. Не беспокойтесь, сделаем как надо. Я тотчас pošлю санитаров рыть могилу. До вечера времени еще много...

Мама говорит ровно, без выражения:

— Он должен провести ночь дома.

Главврач хмурится. Знаю, что он думает. «Моя больница. Мой персонал. Я главный. Я начальник. Мне решать, как работать, как хоронить. Откуда русской женщине знать, как положено погребать? По нашему закону, не по русскому, не по советскому...»

Но вслух другое произносит:

— Вера-джон, национальные традиции тоже уважать надо...

Знаю, о чем он думает. «Что люди в поселке скажут, если позволю не по закону похоронить? Скажут, Хакимов совсем никакого авторитета не имеет. А может, Хакимов не знает, как правильно? Может, его не учили?»

Тот врач, что прежде ему на ухо шептал, опять шепчет. Главврач молчит, думает. Что шептун ему посоветовал? Что им известно такое, чего мы не знаем?! Главврач продолжает:

— Вера-джон... — Помолчал, на шептуна кивает: — Акмол Ходжиевич правильно говорит. Вы столько лет с покойным Умаром вместе жили... Его сын рядом стоит... Конечно, правильно будет, если вы сами его похороните...

Почему? Почему он легко уступил? И что шептун опять ему шепчет?

Главврач приказывает:

— Дядю Васю позовите.

Кто-то из врачей огибает стол, мимо нас проскальзывает. Все молчат. Мама вдруг спрашивает тревожно:

— Где твоя рубаха, Андрей?

— Какая рубаха?

— Почему ты голый?

Оглядываю себя: на мне нет рубахи.

— Не знаю...

— Почему ты раздет?! Что случилось? Где ты был?

— Я копал...

У мамы в глазах ужас:

— Копал?.. Что ты копал?!

— Мама, я на работе... Фундамент...

Она дух перевела. Какой-то странный, незнакомый жест у нее появился — рукой по щеке проводит, будто что-то с лица смахивает.

— Слава богу... Я подумала... Ах, не знаю... — И вдруг ни с того ни с сего: — Андрей, надо одеться.

— Во что?

— Не спорь со мной! Сейчас же оденься!! Ты слышал? Сейчас же.

— Мама!!!

Она будто опомнилась:

— Ах да, конечно...

Входит дядя Вася. Перекрестился. Слежу, как он разматывает складной плотницкий метр, и думаю, почему он измеряет стол, а не отца? Зачем берет так широко?

— Почему не записываешь? — строго спрашивает главврач.

— Голова-то пока на плечах. К вечеру сделаем, — буркнул дядя Вася и ушел.

Санитары перенесли отца назад, в скорую, Али завел двигатель, мама села рядом с ним, а я — в фургон возле отца, и мы повезли его к нам домой.

Дома мама велела мне разложить в большой комнате стол, за которым мы обычно обедаем, когда приходил отец. Али помог внести отца в дом и уложить на стол. Мама приказала нагреть воду в ведрах. Прилетела из школы Заринка, они с мамой обнялись и зарыдали.

Мама выгнала из комнаты нас с Зариной и сама обмыла тело. Хотел помочь, но она резко меня оборвала. Я только подтаскивал к закрытой двери ведра с горячей водой и выплескивал на улицу таз, который она выставляла.

Примчался Равиль.

— Пошли выйдем.

Мы вышли на крыльцо. Он зашептал:

— Куда ты полез? Камикадзе. Летчик, блядь, герой Гастелло. Надо было тихо-тихо промолчать. Затаиться, как Ленин в мавзолее. Тихо-тихо все разузнать. Матушку с сестрой вывезти. Кого надо, тихо-тихо замочить. И тихо смыться. Войнушка все прикроет. Так и батю твоего кончили.

— Кто?! Ты знаешь!

— Ни хрена я не знаю.

— Знаешь!

— За кого ты меня держишь? Кто я, по-твоему?! Шорох идет. И ничего конкретного. Первый день, что ли, в Ватане живешь? Бздит народ. Никто вслух не скажет. Шуршат разное...

— Кто? Хакбердыев, торгаш, да?

— Слушай, на твоего пахана многие зуб точили...

— Но почему?! Что он им сделал?!

— Андрюха, уезжать надо. Вам теперь в Ватане не жить.

— С места не двинусь, пока не разберусь.

— Псих, замочат же. Думаешь, одного тебя? Всех троих порешат, и ни одна собака не пикнет.

— Некуда, Равиль. Некуда. И денег ни копя.

Он кулаком о перила:

— Вот засада! — Потер лицо ладонями. — Андрюха, я у Хакбердыева аванс попрошу. Ты не приходи. Вообще, сиди дома как мышка. Похороните и втихаря слиняете.

— Я матушке еще ничего не говорил. Она не знает.

— Тебя, дурака, не жалко. Матушку твою и сеструху жаль. Распустил, блядь, язык... Напугал старушку толстым хером. Да им по барабану — что в Душанбе жалуйся, что в Москву, что в Париж. Но они не прощают. У нас и за меньшее убивали.

Опять — они. Знает он, татарин ушлый, знает!

— Равиль, как брата прошу, кто?

— Хорош геройствовать. О матери, о матери думай... Ну ладно, Андрюха, держись. Если что, кликни — я сразу... Сейчас бежать надо, извини. Завтра с утра я у тебя. Как штык. Отпросимся с Карлом у кровососа. Не отпустит — долбись он конем, сами уйдем.

Обнял меня, лбом ко лбу прислонился и убыл. Я не в обиде. Знаю, остался бы, если б мог.

Наконец мама выложила в коридор груды мокрых простыней и поставила пустые ведра. Когда она позвала нас, отец лежал на столе со сложенными на груди руками, одетый в териленовый костюм, который обычно висит у нас в шифоньере. Воротник рубашки был поднят, уголки зашпилены булавкой, чтобы скрыть рубец на шее. Стол накрыт нашей лучшей, праздничной скатертью. Не представляю, как мама одна управилась.

Она сидела у отца в головах, опустив лоб на стол.

— Дети, вы, наверное, проголодались. Зарина, приготовь для вас что-нибудь, — сказала, не поднимая головы.

— Мам, мы не хотим, — Зарина подошла к маме и крепко обняла.

— Андрюша, поставь стулья для себя и Зарины, — сказала мама. — И принеси с кухни свечи.

Я пододвинул два стула. Зарина присела, не разжимая объятий.

Входная дверь раскрыта настежь. Заходили поглядеть соседские женщины. Пару раз я выходил на крыльцо и видел, что какие-то незнакомые парни слоняются вокруг нашего дома. Один бес заглянул из коридора в комнату.

— Чего надо? — спросил я грубо.

Он покосился злобно, но ушел.

Немного погодя дядя Вася привез громадный гроб, обитый черным сатином. Они с Али внесли сначала домовину, затем крышку. На крышке — крест из белых матерчатых полос. Мама сухо спросила:

— А крест зачем?

— Вы ж вроде эт самое... по-нашему будете погребать...

Мама глянула на него как-то странно и отрезала:

— Нет, не по-нашему.

Дядя Вася озадачился:

— И то правда. Покойник-то некрещеный. Мне бы раньше сообразить... Что ж теперь? Снимать? А то, может, оставим? Хоть и не нашей веры, а все же...

— Какая теперь разница, — сказала мама. — Если хотите, оставьте.

Дядя Вася обрадовался:

— Так-то оно лучше. Все на том свете полегче придется. Может, за своего примут, если с крестом. Глядишь, там с ним и встретитесь...

— Нет, — сказала мама. — Теперь уж никогда.

Мы установили гроб на две табуретки, перенесли в него отца и водрузили на стол. Они уехали. Начало темнеть. Я закрыл входную дверь и задвинул засов. Хотел зажечь свет, но мама сказала: не надо. Лампочку она оставила только в коридоре, а большую комнату освещали четыре свечи на столе, по две с каждой стороны гроба. В темноте огоньки казались очень яркими. Мы сидели у стола. Внезапно погасла светлая полоса, которая падала в комнату из коридора.

— Опять отключили электричество, — мама загасила две свечи. — До утра, наверное, не хватит...

Я подошел к наглухо закупоренному окну. Мама сказала, что нельзя, чтоб сквозняк, — от него лицо темнеет. У соседей светились окна. Значит, не в поселке отключили, а у нас

какая-то сволочь отрезала... И вдруг к стеклу, с той стороны, прилипли три расплывчатые рожи. Уверен, те же бесы, что днем бродили вокруг. Лиц не различить. Да я и запомнил-то лишь того, что совался в комнату. Опустил шторы. Они погадели и затихли. Ушли?

Я тайком принес из кухни топор и незаметно пристроил возле ножки моего стула.

Мама вдруг начала напевно, но как-то нерешительно:

Закатилось ясно солнышко,  
Догорели светлы звездочки,  
Провожая твою душеньку  
В дальний путь за темну реченьку.

Потом громче. Уверенно и будто забывшись:

Пусть идет она по бережку,  
Переходит вброд по камешкам,  
Пусть плывет чрез воды чистые  
На заветную ту сторону.

Она его провожала. Я не знал, как проститься. Не верил, что больше с ним не увижусь. Гроб мы зароем, а когда-нибудь — не сегодня, не завтра — я увижу, как идет он по улице в отглаженной рубаше и начищенных до блеска туфлях, будто только что вышел из операционной, и, может быть, нам удастся поговорить. И я смогу все ему сказать...

Там забудешь муку смертную,  
Позабудешь нас, оставшихся.

Мама вздохнула:  
— Ах, глупости это...

Мы сидели, молчали, я прислушивался, но за окнами пока было тихо.

— Идите поспите немного, — сказала мама. — Завтра трудный день.

— Мам, мы не хотим, — сказала Заринка. — Я с тобой посижу.

— Иди, иди... Ты совсем измучена. И еще... мне хочется побыть с ним наедине. Поспи часок.

Зарина молча мне кивнула, мы зажгли свечу и вышли на кухню.

— Папа любил здесь сидеть, — сказала Зарина. — Мама, когда он приходил, всегда в большой комнате накрывала. А ему на кухне нравилось.

— Откуда ты знаешь?

— Он мне сам сказал.

— Конечно! Ты же его любимица! «Ай, Зариночка, моя девочка». С тобой-то он разговаривал.

— Как тебе не стыдно! Он тебя любил. И его все любили.

Как же! Всеобщий любимец! Я-то видел — матушка приводила нас в больницу, когда мы болели, — как вокруг него вьются медсестрички. «Ах, Умар Мирбобоевич!» «Да, Умар Мирбобоевич!» Даже мне перепало: «Ах, Андрюшечка, ах, Умара Мирбобоевича сынок. Ах, какой симпатичный — весь в папочку». На матушку, понятно, — ноль внимания. Будто ее и нет. Он и жил-то отдельно от нас, в своей квартире. В двухэтажках. Кочевал то от нас к себе, то от себя к нам. Когда он у нас не ночевал, матушка нам объясняла: «Срочная операция. Ночное дежурство». Это я, когда подрос, стал догадываться, что за ночные дежурства. Иногда, конечно, на самом деле дежурил. Не знаю, почему он нас не бросил. Все же верным был. Как-то в нем сочетались ветреность и постоянство. Да и второй такой русской женщины, как наша матушка, в Ватане днем с огнем не сыщешь...

Я сказал:

— Да, точняк, любили! Залюбили до смерти.

— Уважали и любили. По-настоящему... А ты... ты будто папу осуждаешь.

— Мы же о нем ничего не знаем.

— Это ты не знаешь! Я все знаю.

— Ну тогда расскажи, почему его убили... Ты хоть слышала, с кем он дружбу водил? Со свиньями жирными, с прокурорами, торгашами... Какие у него с ними были дела? Расскажи! Ты же все знаешь! Или, может, он с чьей-нибудь женой...

— Дурак! — крикнула Зарина. — Не смей плохо говорить о папе!

Вскочила и ушла. Заперлась в своей комнате. Я вернулся к отцу и вновь погрузился в темноту и неподвижное время.

Свечи догорели. Я зажег две новые и вдруг услышал, что к нашему дому подъезжает машина. Грузовик. Остановился. Хлопнули дверцы. Голоса. В дверь громко постучали. Началось!

Мама подняла голову, проговорила устало, рассеянно:

— Открой, Андрюша.

— Мама, подожди! Я должен тебе рассказать...

— Не сейчас... Иди и узнай, кто это.

— Мама, не надо! Понимаешь, сегодня, когда... Ну, когда я туда приехал...

— Андрей, прекрати. Ты же слышишь, кто-то пришел...

Постучали опять. Она нетерпеливо встала.

— Я сама отворю.

И пошла со свечой, прикрывая ладонью пламя, чтоб не погасло.

— Мама, не отпирай!

Я схватил топор, выскочил в коридор и заслонил ей дорогу.

— Это пришли... за нами...

— Почему за нами? К нам.

В дверь опять постучали. Громче и настойчивей.

Я крикнул:

— Нас убить!

— Андрюшенька, я понимаю... На тебя такое свалилось. На всех нас... Теперь тебе чудятся всякие страхи...

— Мама, выслушай же меня!

Стук. Пока только стучат. Потом начнут ломать.

— Отойди, Андрей, — сказала она строго. — За дверью ждут.

Я выкрикнул:

— Кто ждет?! Да ты знаешь, кто?!

— Милиция... Телеграмма...

Она протянула руку, чтобы отодвинуть меня. Я уперся.

— Андрей! Господи, да что с ним творится?

Гневно и раздельно:

— Сей-час же про-пусти! Драться с тобой прикажешь?

Я понял: она не отступится. И слушать не станет.

— А ну-ка, марш с дороги!

Ненавижу это слово! Марш спать. Марш мыть руки. А ну-ка, марш делать уроки. Всю жизнь одно и слышу: марш, марш, марш. Я что, солдат? Кукла, чтоб она меня дергала за веревочки? И все равно: дернет — я делаю. Да гори оно огнем. Марш, да?! Так точно! Слушаюсь! Служу Советскому Союзу! Назло врагам, на счастье маме... Я четко развернулся на сто восемьдесят градусов.

— Андрюшка, не открывай! — крикнула Заринка.

По-любому ничего не изменишь. Прятаться бесполезно. Подождут дом. Вышибут дверь. Выбьют окна. Лучше сразу. Лицом к лицу. Заслону. Положу, сколько смогу... Я шагнул к двери. В правой руке — наготове топор.левой откинул в сторону засов...

— Что ты делаешь! — закричала Зарина.

...и распахнул дверь. На пороге стоял отец.

Меня как током ударило. В голове загудело и затрещало, словно включился мощный трансформатор. Топорище выскользнуло из ладони, и топор глухо стукнул об пол где-то далеко внизу, в подземном мире. Меня бросило к отцу — обнять (я не обнимал его много лет — с тех пор, как вырос), но страшная тяжесть удержала на месте. Я не мог шевельнуться. Просто стоял и смотрел. Я знал, что он вернется! Тело,

что лежит на столе позади, за моей спиной, в темной комнате со свечами, — это не отец. Кто-то чужой, незнакомый. А сам он — передо мной, на крыльце. Живой. Я с самого начала был уверен, что это случится. Не ждал, что сегодня.

Фары грузовика, что стоял на улице перед нашим домом, светили отцу в спину. Одет он был в легкий чапан из бекасаба, который всегда надевал у себя дома. Блестящая ткань светилась узкой полоской по контуру фигуры, окружая ее сияющим ореолом. Лицо в тени. Но я угадывал черты, знакомые, родные... И лишь одно было чужим и страшным — усы. Откуда у него усы? Когда они успели вырасти? Где-то в стороне возникла мысль, как бы подуманная кем-то другим: у мертвых продолжают расти волосы. Но почему выросли за один день?

Я сказал:

— Папа.

Давным-давно не обращаюсь к нему так. Сейчас само вырвалось. Беззвучно. Отец шагнул вперед и обнял меня. Я закричал. От отца всегда пахло ароматной туалетной водой и еле уловимым запахом лекарств. Тот, кто крепко обхватил меня, пахнул совсем по-другому. Дымом, молоком, сухим навозом, горными травами, бензином и пылью.

Я рванул назад и услышал, как мама произнесла нерешительно:

— Джоруб?..

Свеча сзади поднялась и осветила лицо обнимавшего меня человека. Он сказал:

— Вера, Вера-джон...

— Да, Джоруб, — ответила мама. — Да, его нет...

И я понял, кто это. Отцов младший брат. Я его давно не видел, тысячу лет он в Ватан не приезжал. На отца совсем не похож. Нет, похож, конечно. Очень сильно похож. Сразу понятно, что братья. В общем, не знаю.

Он отпустил меня, я посторонился, он вошел. Теперь я увидел, что на крыльце стоит какой-то старик. Сухой,

невысокий, с белой бородкой, с кучей медалей на груди. Я догадался, что это дед. Почти не помнил его.

Дед и Джоруб, войдя в дом, остановились возле гроба и заплакали, обнявшись. Плакали как дети. Всхлипывая и утирая слезы. Обнимаясь, поддерживая друг друга. Джоруб широким движением схватил меня, притянул к себе. Мне не хотелось к нему подходить. Я не хотел, чтобы он меня обнимал. Было как-то неприятно после того, как я его за отца принял. Но я вытерпел. Ждал, когда он уберет руки. Но вдруг внутри что-то отпустило. Я целый день не мог заплакать. В их тесном круге я зарыдал, легко и свободно. Я обнял деда и прижался к нему. Слышал, как он шепчет. Говорит как бы сам с собой. Или с отцом.

— Бедный мой сын. Бедный, бедный. Горестный мой сын. Так красиво началась твоя жизнь. Стал ученым человеком. Лечил людей. Люди тебя уважали. И так несчастно ты умер... — Он будто забыл о нас, стоящих рядом. — Если захотели тебя убить, почему не ударили ножом?

Вошел высокий стройный парень, горный орел. Шофер, который их привез.

— Ако Джоруб, ехать пора. Путь долгий.

Дед, утирая слезы, сказал по-русски:

— Доченька, надо в дорогу его собрать.

— Я собрала, — сказала мама. — Обмыла, обрядила.

И вот гроб...

— Спасибо, доченька, — сказал дед. — Но гроба не надо. Зачем гроб? Закутаем его.

— Шер, ты тоже помоги, — сказал Джоруб шоферу.

Мама молча раскрыла дверцу шифоньера и выложила на стул стопку чистого постельного белья. Взяла верхнюю накрахмаленную простыню, начала ее разворачивать.

— Как же так? — проговорила она вдруг. — Если без гроба, то на грязном полу?

Она сунула простыню Джорубу и решительно потянула со стены большой ковер, который отец притащил

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)